

 Вспоминания иногда появляются, казалось бы, совсем ни с чего, без всякого внешнего повода и подчиняются какой-то собственной жизни.

Часто, очень часто вспоминаю я давний августовский вечер с густым и замлевающим солнечным воздухом, некорыстный наш двор уже в новой деревне, перенесенной от затопленной Ангары, и двух старух на крылечке. Я в ту пору уже вышел в работу и любил приезжать в августе — на ягоды, на грибы. Одна из старух — моя бабушка, человек строгого и справедливого характера, с тем корнем сибирского нрава, который не на киселе был замешен, еще когда переносился с русского Севера за Урал, а в местных вольных лесах и того боле покрепчал. Бабушка, обычно и ласковая и учительная, каким-то особым нюхом чувствовала беспокойную совесть и сразу вставала на дыбы. И не приведи господь кому-нибудь ее успокаивать, это только добавляло жару, а успокаивалась она за работой и в одиночестве, сама себя натакав, что годится и что не годится для ее характера.

Вторая старуха — наша соседка через дорогу тетка Улита, Улита Ефимовна. С бабушкой они в каком-то дальнем родстве, даже и не дальнем, а тредальнем, в котором не разберутся и сами. Впрочем, кто в наших старых деревнях обходился без общего родства, и хоть жили деревни гнездами, но и из гнезда в гнездо ниточки протягивались и в прежние и в новые времена. Но держит

рядом старух не это родство, а устоявшаяся привычка при любой страде каждый день хоть на минутку сойтись да побормотать.

Сегодня эта минутка затянулась надолго — уж больно хорош и уборист теплый, как-то по-особому радетельный ко всему живому тихий августовский вечер. Чувствуется, что и ему самому не хочется сходить с земли, вот он и остановился в раздумье, что бы еще такое хорошее сделать, чтобы завтрашнему дню было полегче. Старухи сидят на разных приступках, бабушка повыше, тетка Улита пониже, я сбоку от них на завалинке. Мы все от нечего делать наблюдаем, как кормится птица — курицы, голуби, воробьи. Бабушка время от времени подбрасывает им из подола зерно — они испуганно всплескиваются и затихают. И только когда среди общей дружной работы некто вспомнивший о своем достоинстве петух бросился за курицей и после недолгой погони настиг ее, бабушка, замахнувшись на петуха, язвительно пропела:

— Ох, Андрияша! Ох, Андрияша!

Я засмеялся:

— Почему Андрияша?

— Ну дак, ишь до чего истребал молодку! Ты погляди. Вытеребил ей и хвост и гриву. А пошто Андрияша, вот у нее, у Улиты, спроси.

Тетка Улита не ответила. И вид такой сделала, что не понимает, о чем разговор.

— Ты не помнишь рази криволицкого председателя Андрияна? — Это бабушка мне. — Не помнишь, какой он был? Вот так же над бабами крылил опосле войны. Где какую разглядит — это хошь убегай из деревни. Хвост свой распушит, глаза заголит — и без оглядки. Так, нет я, Улита, говорю?

— Ты там не жила, ты там раз в году и бывала-то, тебе как не знать! — ровно, соглашаясь и не соглашаясь, ответила тетка Улита. — Ты об наших делах лучше всех должна знать!

— Ой, да об этом собаки и те в ту пору брехать перестали.

— Ну и ты не брещи.

— Вправду сказать, и любили они его, своего Андрияна, председателя своего, — не давая себе сбиться на насмешку, сказала бабушка. — Какую холеру они в нем находили, а любили. Ну дак: он и заступник, и кормилец, и один на всю деревню мужик. Мужиков-то ведь всех подчистую повыбили. Василий ишо ненадолго пришел... дак он пришел, на нем живого места не было... он и году, однако, не пожил?

— Пожил, может, и поболее, да че толку-то? Он с кровати не подымался.

— А этот атаман, ой, атаман! Откуль че и бралось?! Они от его, как стрелы, разлетывались, когда он утром разнарядку на работу делал. Манька — туда, Санька — туда, Улита — сюда...

— Ты-то откуль че знаешь?! Ты бывала на них, на разнарядках-то наших! Ты слыхала, какой там крик стоял! «Как стрелы разлетывались». Эти стрелы-то не от него разлетывались, а в него слетывались. С нами воевать было... похлеще, однако, той войны.

— Ну дак, днем воюй, ночью воюй...

— А вот уж про это я не знаю.

Бабушка выразительно покосилась на тетку Улиту.

— А потом посадит их, войску-то свою, на коней... я за три версты у себя слышу: летит Мамай! Ой, спастись куда-никуда надо — летит Мамай со своей войской! И все в голос ревут. Праздники-то эти были... как их?.. новые-то?.. — сованье-то?..

— Какое сованье? — не понимал я.

— Ну, эти-то, бумажки-то в щелки совали, праздник делали...

— Голосованье, что ли? Выборы?

— Ну-ну, выборы. А ящики-то в нашей деревне ставили, тут сельсовет, сюда и народ из остатных деревень

собирали. Все едут чином да ладом, и филипповские, и ереминские, и барановские, а этот с топотом, с гиком, с криком налетал. На ребяташек коней не хватало, они опосле отдельной ордой врывались. Но бабы, эти все округ него на конях, все верхами. У тебя, Улита, поди-ка одно место по сию пору не зажило, без сиделок-то скакали! Сиделок-то на всех не хватало.

— Отвяжись ты!

— Ой, летит, летит! А как не успела затвориться да за огороды убежать — коня на дыбы поставит, он, конь-то, передние ноги за заплот свесит, а сам каким-то хлобыстьем по окошкам пройдет и кричит: «Марья-а!» — Они все за ним дурноматом: «Марья-а!» — «Ежели четверть самогонки сей же час криволуцкому народу не представишь — раскатаем твою избенку до бревнышка и тебя по миру пустим». И они тем же макаром.

— И представляла? — спрашивал я.

— А было. Два или три раза было, что представляла. Куды денешься?! Избенку, поди-ка, не раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, опосле ни шерсти, ни молока не дождешься. Вот она сидит тихоня тихоней, а поглядел бы ты тогда на эту тихоню. Глаза горят, волосы трещат, из ушей, из носов дым идет, сама вся напряжится, вот-вот оборотится в кого. И все они таки же, нисколько не лучше. Представляла, как не представляла. Жить-то охота.

— Слушай ты ее, — с легкой досадой отмахивалась тетка Улита; воспоминание, пусть и подправленное в чужом пересказе, ее согрело, лицо ее как-то сразу разгладилось и зарделось. — Слушай, она нагородит. Сама за ворота выходила и сама зазывала. А пащ, он в праздник разгуляться любил, он коня приворотит...

— Я сама зазывала?

— Да не я же... Я в Аталанке не жила, я к тебе потчеваться заезжала.

— Вытребуете, дак и потчуетесь. Со дна Ангары выкричите.

— Кричали-то так, для потехи. А у тебя уж все готово, ты уж с утра ждешь.

— Ишь че! — оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. — У меня семья голодовала, а я на них наготовливала, на всюю ихую рать. Ишь че!

— А ты такая всегда и была.

— Какая такая?

— Простодырая.

Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возмущаться, и, сбившись, оборванно досказала:

— И домой такой же рысью скачут, ни одну не потеряют. Сам-то уж сильно приустанет, головушку свесит, а они округ его, они округ его... Кто за руку, кто за ногу держит, коня со всех боков подпирают. Они бы, однако, волосья друг дружке повыдирали, если бы он свалился.

— И верно, ему нельзя, он председатель.

— Они при нем на нормальных баб нисколь не походили. Не знаю уж, на кого походили, а на себя не походили.

— Мы при нем работали. Так, скажу тебе, Марья, работали, как я больше и сама не рабатывала и не видела, чтоб работали. Много годов под один запал. А после-то уж че, после не работа была, а так... хозяйство да заделье. После-то уж впрохладцу жили...

И это говорила она, тетка Улита, которая за всю свою жизнь ни дня единого не провела без плотной работы, которая до последнего часа в семьдесят с лишним лет не расставалась с коровой и накашивала на нее без помощников, обихаживала немаленький огород, чтобы по осени, десятки раз сбегав на берег и договорившись наконец с баржой, отправить сестре и племянницам в город картошку и все остальное, таскала, выгибая спину, мешки, помогала другим, кто с той же баржой тоже кому-то

отправлял, а проводив баржу и перекрестив ее вслед, то-рошилась подхватить следующее дело. Мало того — она еще и в няньки нанималась, чтобы заработать копейку, потому что на колхозную пенсию, которой едва хватало на соль да на спички, учившейся в городе племяннице модные сапоги было не справиться. Но это уж надо было видеть, как нянькается тетка Улита. Я по соседству видел, и я этого ввек не забуду. Притащив от молодых родителей мальчонку, которому, кажется, не исполнилось и годика, тетка Улита стянула с него штанишки, чтоб не портил добро, нажевала, припомнив собственное детство, хлеба, затолкала эту кашу мальчонке в рот, сунула ему в руки сковородник и убежала к скотине. Меня поднял из своего дома напротив крик — сначала сильный, возмущенный, затем все более и более переходящий в жалкое попискивание. Я перешел через дорогу, заглянул в избу и натолкнулся на мальчонку возле самого порога, который он не мог преодолеть только потому, что вконец обессилел от крика. Оттащив его от порога, я попытался успокаивать — не тут-то было! Тетку Улиту я отыскал в стайке, где она что-то подправляла.

— Тетка Улита, ведь он же кричит. Ты что его бросила-то? Вот нянька!

— Кричит? — Она выпрямилась и прислушалась. — А ты притвори дверку-то, притвори, его и не слышать будет.

— Да ведь кричит же!

— Ну и че, ну и пускай покричит. Это ему в пользу, лучше будет спать.

На другой день мальчонка кричал поменьше, а на третий, когда я из интереса заглянул опять в избу, приметив, что тетка Улита копается в огороде, он уже во-дил перед собой сковородником, как щупом, и, время от времени, что-то обнаружив им, восторженно взвизгивал. Нечего и говорить — спал он, конечно, отменно.

И еще помню: бежим мы с теткой Улитой в сенокосную пору на гребь и бежим почему-то среди дня, по жаре. Потому, кажется, что я спускался в деревню за хлебом и ждал выпечки в пекарне, а тетка Улита припозднилась с коровой.

И вот, проходя мимо речки, я вздохнул:

— Эх, искупаться бы... Давно, поди, не купалась-то, тетка Улита?

— А я, парень, и вовсе никогда не купалась, — ответила она.

Я изумился:

— Никогда не купалась?! Почему?

— А некогда было. Один раз девки живьем в одежонке в воду столкнули, дак махом вымахнула и скорей за серп. Когда нам было раскупываться?

Тогда же я спросил:

— А ты почему замуж не выходила, тетка Улита?

— За кого? После войны не за кого было, потом женихи подросли, дак я уж сама изросла. А в чужую деревню уходить не хотела.

...В одно урожайное на грибы лето мы с соседом по два раза на дню плавали за речку за рыжиками. Здесь, в чистых криволуцких сосняках на заброшенных полях, их было особенно много. Однажды под вечер, нагрузившись во всю посудину, я тихонько вышел из лесу к поляне, на другом краю которой поблескивал залив и стояла наша лодка. Видно, я вышел совсем неслышно, и тетка Улита, сидевшая на колодине лицом в мою сторону, вернее, в сторону криволуцких полей, не успела смахнуть слезы. Она и не стала их смахивать, а сказала мне:

— Вот помру, думаешь, я на кладбище лежать буду? Нет, парень, я здесь буду бродить.

— Без работы?

— Кака-нить работа, поди, найдется.

Умерла тетка Улита зимой.

За три дня до того я приехал в деревню, растопил печку, и на дымок первой ко мне заглянула тетка Улита. Мы поговорили мало, она, как всегда, куда-то торопилась. «Как вы, тетка Улита?» — «Дак а я че, обо мне какой разговор? Топчусь». Приглашала «побормотать». И в тот же вечер слегла. Рассказывали, что закатывала в ограду бочку с замерзшей водой (водовоз налил, а она не заметила, вода замерзла), — стала закатывать, чтоб отдолбить, и «в грудях че-то сделалось». Два дня лежала. Да и не лежала; накануне вечером пошел к ней, а у нее за воротами два парня с бензопилой взятыя над кряжами. Она, больная, никто не знал, до какой степени больная, еще топталась, подавала им закуску. Когда ушли, закрылась, легла и больше не встала.

Так и лежат они неподалеку друг от друга: бабушка в среднем порядке разросшейся и успокоившейся деревни, а тетка Улита в верхнем. Кладбище высокое, словно вознесенное надо всем, что его окружает. От него хорошо видно во всю ее разлившуюся ширь Ангару, и, если встать лицом к воде, справа видны криволицкие елани, а слева бабушкины, аталанские.